

то и не столь уже далекими от истины. Ибо тогда эта слова предстанут в их подлинном смысле — относительном, а не абсолютном.

Если сумма насилия, к коему вынуждена прибегать ныне русская государственная власть и чрезмерно велика, то чрезмерны и трудности пореволюционного неустоявшегося быта, кои, впредь до создания прочного и законченного аппарата власти, приходится преодолевать. Поставленные подобные условия любое правительство Европы не было бы ни более мягкосердечным, ни менее решительным. А главное — по мере преодоления пореволюционного хаоса насилие государственной власти принимает организованные формы *нового положительного права*. И в этот момент всякий удар по Власти есть удар по идеалу России, как правового государства.

Сейчас в голоде, нищете, разрухе и еще неизжитом насилии анархических вспышек, этот идеал творится в действительной жизни, облекается плотью и кровью.

Самые лучшие, по моральным источникам своим, вегетарианские вопли против насилия власти рожденной Революцией — являются антиморальной по следствиям изменой собственному идеалу. — Идеалу эволюционного развития России как правового демократического государства.

Революция и десятичные дроби

Только теперь, вернувшись из-за границы, прочел первый номер «России»¹ и статью, посвященную «Сменовехам в Петрограде».

Но ознакомиться я с нею мог еще не границе в покойном Вержболово². Из прощальной пачки эмигрантских газет «Последние Новости» перепечатали эту статью почти целиком и как-то она кстати пришлась между отчетом о лекции Кусковой, статьей самой Кусковой и восьмистолбцовым фельетоном под не загадочными инициалами П. М.³ на тему все о той же Кусковой.

Это еще с лета началось: так сказать, кусковизация эмигрантской общественности. Тут и старые завоевания, и заветы революции, и национальный смысл октября; «долой интервенцию», не надо гражданской войны и... революционное свержение коммунистической диктатуры; признание, что 17–18-х годах большевики поддерживались подавляющими массами народа и утверждение, что сейчас, зато, с ними незначительное меньшинство.

Ниже тоненькой тростиночке
Надо голову клонить,
Чтоб на свете сиротиночке
Беспечально век прожить.

А печалей, все же, было много. И тут разница между нами заграничными и сменовеховцами российскими, о которой просит не забывать наш критик.

— «Они были на том берегу, на сухом и удобном местечке. Переставили вехи по сухому, да так и побежали по дорожке прямехонько в Москву»...

— «Мы утопали в кровавом болоте обстоятельств... сделаешь шаг, а потом осознаешь его. Но это осознание куплено кровью и полито слезами».

Ну, что же, возьмем для удобства взаимоотношения между «они» и «мы» в таком упрощенном, плоскостном и глубоко нервном разрезе. И останется тогда не обижаться на дружескую совокупности, по которой укатал нас Тан... а понять, что три года блужданья по болоту «утопая в своем собственном безумии», не могли не отозваться некоторой простудой.

Совершенно дружески я понимаю, что получился своего рода идеологический ревматизм. При котором иногда, странным образом, суставы ноют как раз на тот же мотив, что у Миликовских «Последних Новостей», прочно обосновавшихся, именно, «на том берегу, на сухом и удобном местечке».

Когда Тан⁴ говорит, что «их сменовеховство» — сладкое как сахарин. Наше горькое как полынь». Когда он упрекает нас за никем не дававшийся совет — «нагрешили, та кланяйтесь», или решает, что мы притязаем на власть — «не идеологически, а, так сказать, практически, бюрократически», ему кажется, что в нем говорит революция, которая «опалила душу, пронзила ее рентгеновским лучем и разбудила в ней радиоактивность колючую и злую».

А на самом деле это только ревматизм сказывается недобрым брюзжанием.

И рентгеновский луч здесь решительно не причём и радиоактивности во всем этом, право, не больше чем в блаженной памяти Воейковской «Куваке»⁵...

Дело, конечно, не в том, чтобы Тану до смерти хотелось попасть в «сменовеховские дедушки». И ему это ненужно, да и из нас «заграничных» никто бы этого титула у него не стал оспаривать... хотя бы уже потому, что будущее принадлежит не дедушкам, а внукам.

Весной на своей Берлинской лекции Милюков утверждал, что «приток живых сил в сменовеховское течение происходит за счет идей, высказанных им более года назад».

Однако никому, даже Маркову II, в голову не придет называть Милюкова сменовеховцем... Даже теперь, когда в процессе «кусковизации» он с невероятными трудностями переваливает через какой-то незримый рубеж — от новой тактики к новейшей... тоже незримой.

А вот Тана, Лежнева, Адрианова, Пильняка⁶, сменовеховцами называют и будут называть.

— На мой взгляд, называют правильно.

Ибо сменовеховство — не политическая партия, и не единое течение, не журнал «Смена Вех» или газета «Накануне», а гораздо более сложное и многогранное явление. В самой своей многогранности имеющее, однако, нечто простейшее и общее.

Это широкое движение русской интеллигенции от борьбы с революцией к примирению с ней.

Как не было никогда единой интеллигенции, так и сменовеховство идет из разных истоков, разными руслами и различным темпом.

У тех, кто проделал путь активной борьбы с революцией, пережил «том берегу» опыт гражданской войны и воочию наблюдал «устойчивость» жизни буржуазного запада, этот процесс смены вех шел, вполне возможно, совсем иначе, чем у тех, кто не себе чувствовал, что

Ниже тоненькой тростиночки
Надо голову клонить...

и у кого от этого надо до сих пор шея болит.

Но поскольку, хотя и с запозданием, такая передвижка интеллигенции от марта к октябрю совершается, термин сменовеховства означает этот процесс достаточно удачно.

А Тан обижается: «Я уже три года, как переставляю вехи... Не хочу в собственные науки!»

И пишет о «Сменовехах в Петрограде» статью, в которой так и слышится «просят не смешивать»... со Сменовехами из Петрограда.

Тан в № 1 «России» впадает в ту же сшибку, что и Сафаров⁷ в «Петр. Правде», критикуемый в «России» № 3. — Персонифицирует сложное общественное явление в отдельных лицах, содержания этого явления отнюдь не исчерпывающих. Берет сменовеховство как признак организационный, а не идеологический, каков он есть на самом деле. Притом идеологический в динамике, а не в статике; определяющий не достижения движения, а его направление.

Тан спешит заявить, что он — сам по себе. В то время как иначе и быть не может и это само собой разумеется.

Весной «Новая Россия» резонно писала об интеллигентском «самоопределении в революции».

Осенью Тан еще более резонно пишет: — «Эсеры, меньшевики, кадеты и прочие умеренно-левые и лево-умеренные... десятичные дробы великого процесса революции. Революции считает триллионами, на что ей десятичные дробы?» Но, тем не менее, запятую в собственной дроби старательно ставит.

Интеллигентское «самоопределение в революции» должно включаться, в первую очередь, в переходе на берег революции, в служении революционному народу, в окончательном разрыве о прошлым, в отрыве от старого быта от прежнего политического и социального уклада.

А г. Сафаров хотел бы, чтобы был отрыв не только от старого быта и порядка, но и от старой (егго⁸-буржуазной) культуры. Причем в буржуазную культуру может быть зачислен в Толстой и Васнецов, и Чайковский и, уже разумеется, В. Соловьев⁹.

Поскольку русская интеллигенция в весьма значительной части не самоопределяется как коммунистическая, постольку г. Сафаров определяет ее, как контрреволюционную. Мечтающую, тайком, о социальной реставрации.

Мне кажется, что это грубый я ошибочный схематизм. Я думаю, что если бы вдруг сменяющая веки российская интеллигенция валом повалила в Р. К. П., такому «самоопределению» грош бы была цена; и самой ком. партии пришлось бы потуже запереть ворота от наплыва подобных прозелитов.

Но ошибку делает и Тан, успокаиваясь на том, что «веки в общем интеллигенция переставила», и приглашая «каяться, так каяться вместе». А так как все нагрели «все хороши», то дальше, очевидно, подразумевается приглашение выдать другу взаимную индульгенцию, провозгласить идеологическую амнистию и начать новую жизнь.

Боюсь, что для новой жизни время еще не настало. Не изжито еще старое... даже в нас самих. Тут та же ошибка, что 27-го февраля 1917 года, когда интеллигенции казалось, что на старом — крест, «друг друга обымем» и прочие хорошие, радостные вещи. Дело оказалось далеко не так просто: старое не похоронено, а все еще живет и мы, бывшие на том берегу, знаем силу его ненависти к новому. Мы не воскликнем недоуменно: «Что за чертовщина! Кто притязает на власть». «Мы “заграничные” знаем, что таких притязающих более чем достаточно. Конечно «не к чему было приезжать из заграницы, чтобы учить россиян уму разуму». Мы и не для этого приезжали.

Просто думаю, что наше место — в России.

Но, все же, четыре месяца жизни здесь меня лично не убедили, чтобы «притязующих (идеологически, а не практически) не было и тут.

Все хороши. Все нагрешили. Но далеко не равноценны грехи сторон в нынешнем споре «власти и общественности». Или, вернее, интеллигенции — ибо теперь русская общественность старой интеллигенцией не определяется, а новой она еще не успела создать.

Перестановка вех еще продолжается. Идет она разными путями. Тело у интеллигенции не цельное, слоистое. Пласт за пластом переходит на берег революции. Толкается на него силами идеологическими и социологическими. На «сухом и удобном» заграничном берегу на нас повелительно действовали мотивы идеологические — мы должны бы сменить вехи, во многом обвинив себя, их меняли, по свидетельству Тана, внутреннего оправдания», под давлением обстоятельств, по причинам социологическим. *Post factum...*

И рано считать этот процесс законченным.

— Отречься от свободы готов. Гогов признать, что лишение свободы необходимо. Покориться готов, а проповедовать не буду. Такую проповедническую веху переставить никак не могу, — заверяет Тан и, кстати, признается, что предпочитает «прямой и откровенный коммунизм. Тот не подсказывает, а просто приказывает. И, право, это лучше. Дело вкуса — спорить трудно. Но не кажется ли Тану, что именно для такого вкуса нужно — «иметь утонченные мысли и вялый темперамент»?

Ну а в общем оставались согласны. Согласны в оценке Европы; в отношении к интервенции Антанты и к Красной армии; в определении удельного веса старых партий; в признании советской ориентации и советской внешней политики.

Есть один нюанс: мы, жившие эти годы в Европе, считаем, что она стоит перед социальной революцией. Что эта революция в различных странах приближается с очень различной скоростью и темп ее приближения подлежит строгому учитыванию во внутренней и внешней политике России. Что именно от сроков пришествия революции и мощи ее размаха во многом зависят и судьбы Новой России. Как, обратно, краткость этих сроков и степень этой мощи теснейшим образом связаны с тем, чтобы Россия была, именно, Новая.

Тану Европы одной мало. Он прибавляет: «перед страшной социальной революцией стоит не только Европа, но и все материки и океаны».

Ну, что же? Если темперамент не вялый и требует этого, уступаю. Уступаю Сахару и вершины Гималаев, тропик Рака и Козерога, Гольфстрем и оба полюса. Уступаю.

Только не очень ли это опять в февральском стиле?

— Все готово, все дано вплоть до океанов, все совершится без наших усилий. От нас ничего не требуется; учить нас не надо; сами проповедовать мы не хотим. Покориться готовы, но желаем остаться «в самом покаянии своем совершенно нераскаянными.» —

Пожалуй, и действительно — рассыпчато, рыхло, нецельно, извилисто.

И уж если нас Тан сравнивает с редиской — снаружи красной, внутри белой, а Россию со свеклой, и черной с красным, кормовой — не сразу укусишь» — то, держась того же огородного репертуара, мой истинно дружеский совет: — не будьте, Бога ради, арбузом.

Снаружи защитная корочка: не белая и не красная — зеленая. А внутри красное с черным. Красная мякоть рыхлая, а косточки твердые. Черные. Мякоть вкусная — ам! и нет ее. Только и осталось, что зеленая корка, да черные косточки... а красное, поминай как звали.

Опасайтесь этого.

Так случается, когда красное бывает рыхлым.

И радиоактивность, колючая и злая в таких случаях не поможет.

Русский интернационал

Мы оказались контрабандистами. Выяснилось это на последнем съезде компартии из доклада Сталина¹ по национальному вопросу. Говоря о сочувствии советской власти, мы — сменовеховцы — стремимся под красным флагом протащить в будущую российскую государственность то, что не удалось Колчаку и Деникину воплотить в жизнь методами «прямого воздействия» — идею Единой, Великой, неделимой России².

Носители идей великорусского шовинизма, «сменовеховцы», — как свидетельствует Сталин, — приобрели массу сторонников среди советских чиновников. Это вовсе не случайность. Не случайность и то, что господа сменовеховцы похваляют коммунистов большевиков, как бы говоря: вы о большевизме сколько угодно говорите, о ваших интернационалистских тенденциях сколько угодно болтайте, а мы то знаем, что то, что не удалось устроить Деникину, вы это устройте, что великую идею великой России вы, большевики, восстановили, или вы ее, во всяком случае, восстановите».